

Потом Зиновий Абрамович Яновский научит нас написанным правилам журналистики — как собирать материал, как его перепроверять, что такое газетная стилистика, правка, как важно быть рядом, если твой текст правит чужая рука, и совершенно необходимо читать гранки, подписывая их всякий раз, а потом и газетную полосу, на которой идет твоя публикация. Впрочем, один учитель, даже самый внимательный, не может предупредить тысячи ждущих тебя подвохов, а потому газетная школа продолжается почти всю жизнь, и вовсе не редкость, когда самый что ни на есть седой профессионал вдруг по незримой нелепице осрамится, будто начинающий мальчишка.

Конечно, эти уроки маячили еще впереди, а тогда, примчавшись к порогу альма-матер, я снова бухнулся с головой в волны бытия.

На широкой приступке возле университетского зеркала мы втроем нашли три почтовых перевода по девять рублей каждый. Боже! В итоге легкой пробежки к почте выяснилось, что это поделенный на троих гонорар за заметку про лыжную выставку. Мы с Джуркой и Минибаем учинили банкет в столовке, призвав к нему Яшку, Игорька и Генку. Просто сдвинули два стола и проглотили обыкновенные обеды в

часть достигнутого трудом праведным газетного гонорария.

Все обгоняли друг дружку шутками, иронией, а в общем, радостью, что — вот, все-таки, пусть и совсем малое, но мы чего-то же обнародовали!

Было очевидно, что нашим славным грузчиком-гольщикам хотелось бы того же, и матрос тихоокеанского флота заявил, насытившись, что завтра же отправится в окружную военную газету. Игорек вызвался быть напарником. Они и найдут там себе применение, и мы с немалым удивлением узнаем, что солдаты, сержанты, а то и некоторые офицеры, младшие, конечно, по званию, любят складывать стихи и целыми возами отправляют их в свою военную газету. Там же, как это требовали правила, каждое письмо, даже в виде стихотворений, требовало ответа, и нашим боевым товарищам предлагалось рецензировать, хотя бы кратко, эти сочинения, и за каждый ответ полагалась половина рубля.

Поначалу они возрадовались. Пришли с охапками стихов в аудиторию машинописи и стали тыкать на старых «Ундервудах» послания пиитам. Однако печатать требовалось сразу на редакционных бланках. А машинописью бойцы не владели. Приходилось учиться по ходу боя. Бланки летели в корзину ворохом, пока все же, не овладев азами ремесла, Яков и Игорек не наловчились выдавать свою нешахтерскую лаву на-гора.

Яков откуда-то обладал замысловатостью объяснений, Игорь был прямым и безжалостным. Мы почитали у них из-за плеча некоторые отрицательные пояснения, и великодушный Минибай, кажется, заметил, что так они скоро лишатся работы — распугают всех военных поэтов. Литературные консультанты призадумались, поохали, но замечания уразумели. Каждый отрицательный отзыв завершали призывом, вроде того, что не унывайте, дорогой поэт, совершенству нет предела, вспомните Пушкина и начинайте все сначала!

Удивительное дело — начинали! И обращались к нашим писателям уже по фамилиям. Начинали с благодарений.

— Вот видите, — поощрял их Джурка Скок, — вы стали нужны поэзии!

Но нужны ли были эти поэты нашим бойцам? Чтобы напечатать десять ответов десяти жаждущим признания военным, да еще применяя всего по одному пальцу каждой руки — хотя по десять разборов в день, — требовалось адово терпение. А Игорь с Яковым были людьми не той породы. То и дело выходили в курительную возле туалета. И сквозь эту курилку приходилось прорываться чуть ли не ползком. Я, как человек некурящий, пробегал в основной отсек на полусогнутых. Скоро выяснилось, что расходы на табак, потребляемый от печалей умственного труда, приближался к затратам на сам этот труд. Духовность постепенно уступала расчету. Через месяц-полтора наши старослужащие сдали поэзию назад в газету, пообещав появляться с интересными сочинениями собственного изготовления. Если получится.

## 5

Ну а своей стипендии я едва дождался. Надо же! Сквозь мытарства и испытания, которые я принимал как должное, меня вдруг пригласили расписаться в ведомости и выдали выстраданные 220 рэ. Другие-то мои соученики и соученицы принимали эти рэ как естественное обязательство государства, получали финансовую благодать как нечто бытовое и, скорее, даже принудительное, но вовсе не достигнутое и не вожденное.

Сунув денежки во внутренний карман и сбедаемый жалким тщеславием, а вернее-то детской невоздержанностью, я произнес фразу, после которой тотчас же прикусил язык:

— Приглашаю в ресторан!

Джурка и Минибай восхитились идеей, и мы стали искать четвертого — столики-то в ресторане, наверное, на четверых. Никто не соглашался. Все похихикивали и жались. Ясное дело, матрос тихоокеанского флота замахал на нас большими красными, как лапы у гуся, ручищами, Игорь Коробкин опять обсуждал с Генкой

Шидриным свою возлюбленную кастрюлю, которую уж теперь-то точно надо было покупать в хозтоварах — за чайник, изнутри залепленный спасительной вермишелью, их матюгала вся комната в общаге, — к этим и подступаться с предложением о ресторане смысла не имело.

Не уверенные в благополучном исходе, мы двинулись к ресторану «Савой». Собственно, в городе их было несколько, еще один, при большой гостинице, назывался по ее же имени «Урал», но такое название было слишком обыкновенным для столь поэтического замысла. По дороге мы обменялись вопросом: а что такое означает слово «Савой». Ни Джурка, ни Минибай, ни я — не знали.

— Откуда-то, наверное, оттуда! — кивнул Скок в восточном направлении. И пропел из Вертинского: — В бананово-лимонном Сингапуре...

Мы посмеялись. Савой, Сингапур — как там еще? — были так далеко от этих мест, что и думать-то про них нам не могло. И бананов мы и не едывали.

И тут лоб в лоб мы столкнулись с Толей Пудолем. Он шел нам навстречу с кучкой небольших книг, и это была поэзия.

— Зашел в книжный! Завезли новинки! Такая радость!

Конечно, строчки поэтических книг — как луч солнца, но нам, не очень-то отесанным, это еще только предстояло понять, а блистательный Пудоль уже давно понял, и мы позвали его в ресторан. Мол, приглашаем! Хотя душа моя втайне содрогнулась: чего же останется от моей стипендии.

Будто кто-то услышал мой писк. А может, Пудоль и услышал:

— Ха! — сказал он. — Это я вас приглашаю! Получил последнюю стипендию, ухожу окончательно, жрать хочется, пошли, посидим!

Это было чудесное застолье! Ресторанный дебют в заведении с неизвестным именем «Савой». Уверенной речью наш старший — и опытный, конечно! — товарищ заказал всем по салату оливье — это словечко мы zapomним навеки, — по мясной солянке и бифштексу с яйцом и жареной картошкой. Потом махнул рукой и велел подать бутылку водки.

Ее принесли в запотевшем графине, и мы, похоже, разом почувствовали, что какая-то с каждым происходит легальная перемена. Всем нам вместе — и каждому поодиночке — выпивать приходилось. Но — где? В какой-нибудь занюханной пивнушке! В проходном буфете! У друзей в общаге — там вообще втихаря, чтоб комендантша не прознала. А тут! Ресторан! Сияют люстры, хотя и не горят, потому что дело происходит днем — можно себе представить, что здесь бывает вечером! — позвякивают хрусталинки, в зале кто-то есть

еще, но как-то по окраинам, две-три пары от силы, а нас усадили в самом центре, возле фонтанчика!

И еще-то вполне отчетливо мы ощутили перемену своего духа. Мы явились сюда не то чтобы совсем повзрослевшими, но — имеющими право, вот что! Мы имели право тут сидеть, беседовать, ожидая еду, а потом с непривычным наслаждением поедать отличную жареную, заработанную нами.

Но наш нечаянный предводитель не спешил, он ласково перебирал новокупленные книжицы, не уставая улыбаться, и вдруг посерьезнел:

— Слушайте!

И проговорил торжественно и тихо, а мы бросили свои вилки от таких слов:

Нет, я не Байрон, я другой,  
Еще неведомый избранник,  
Как он, гонимый миром странник,  
Но только с русской душой.  
Я раньше начал, кончу ране,  
Мой ум не много совершит;  
В душе моей, как в океане,  
Надежд разбитый груз лежит.  
Кто может, океан угрюмый,  
Твои изведать тайны? Кто  
Толпе мои расскажет думы?  
Я — или Бог — или никто!

Будто легкое и печальное облачко сгустилось над нами, а Толя так и вовсе сидел, свесив голову. Потом вздернул ее, в глазах его сверкали слезы.

— Слышите, мальчуганы! Это к нам обращается Его Величество Лермонтов: «Я! Или Бог! Или никто!»

Мы и выговорить-то ничего не могли, сидели рядом с великим нашим наставником и преданно глядели на его как будто измученное лицо. А он полистал книжку и будто молитву пропел:

Нам не дано предугадать,  
Как слово наше отзовется, —  
И нам сочувствие дается,  
Как нам дается благодать...

Мы еще бродили внутри себя, заблудившись в своих собственных мыслях насчет того, что означает сочувствие в нашей жизни, и уж тем более как применить к ней нездешнее слово «благодать», а Толя Пудоль налил рюмки и произнес не то чтобы торжественно, но все-таки с большим значением слова, от смысла которых нас всех прохватил озноб.

— Поздравьте меня, ребята! — И мы хором поздравили его от всего сердца, полагая, что он окончательно устроился в газету.

— Славные вы, мальчишки! — проговорил он, ни чуточку не возвышаясь и не превозносясь. — А ведь вы даже не знаете, с чем поздравляете!

Мы переглянулись, теряясь в догадках.

— А я сегодня, — веселехонько молвил он, — сдал рукопись книжки своих стихов! И сразу подписал договор! И сразу получил аванс. Смотрите!

Он будто фокусник распахнул свой пиджак и вытащил из одного кармана толстую пачку денег. Шмякнул ее на стол. Но чудо продолжалось! И он вытащил из другого кармана еще такую же пачку и положил рядом с первой.

— Полторы и полторы! — прошептал он. — Три тысячи! И это только аванс за книгу моих стихов! Представляете!

Мы не представляли. Ни в прямом, очевидном, смысле слова, ни в переносном, этаким созерцательном. Но мы не позавидовали — вот что. Не вздохнули, пусть и со светлой, но мечтательностью. Мы просто восхитились этим замечательным Толей Пудолем, который бросает университет, вернее, переходит на заочное, только и нужное-то ему для проформы, для диплома, — но кто и где эти дипломы требует в газетных редакциях, если ты умеешь талантливо писать, научился влезать в многообразные конфликты, сочинять пронзительные очерки и выплескивать публицистические думы, от которых трепещут все подряд!

А еще и вынашивать стихи! Да так, что тебе, всего-то четверокурснику, предлагают выпустить целую книгу и дают гору денег!

Мы и близко не могли близиться к таким высотам! Мы и возмечтать не помышляли о таком небывалом — не таланте, нет, а истинном Божьем даре, которым озабочены лишь немногие, наделенные чем-то невероятным, да еще и откуда-то лично им спущенным. Ясное дело, сверху.

Есть такие выражения, вообще-то: «Его Бог в темечко поцеловал», «Его ангел всегда над ним», «Архангел по головке в детстве погладил». В том благостном застолье и в те антирелигиозные времена, пожалуй, нам и не припоминались подобные приговоры, но спроси нас тогда и о таком, мы бы закивали головами, соглашаясь.

Толя Пудоль как-то просто вышел к нам из-за угла и повел нас в ресторан. Это была и благодать, и провидение, вместе взятые. А он сам явился как посланец чего-то неведомого, но светлого.

Да-да, на самом деле, он явился из света, из солнечных лучей, из какого-то заповедного пространства, чтобы сесть рядом, испить заздравную чашу с юношами, которые глядели на него, открыв рот, и внимали каждому его слову.

Мы просили его рассказать о себе, и он не отлынивал, пояснял, что родителей у него нет, воспитывала тетка, а писать он начал классе в восьмом — то была детская мура, пришлось бросить и кинуться в газетную работу. По здоровью в армию не взяли, он поработал в сельской районке, а поступив в университет, сразу пришел в молодежку. После трех-четырёх больших кусков про деревню его позвали в штат. Он метался между лекциями и редакцией, потом от лекций отрекся, его окончательно взяли на зарплату. Университет, точнее, наша журналистская кафедра, им восхищалась, публикациям с его именем поражалась, и в конце концов поощряла тем, что скрывала его неявки на лекции. Сегодня он написал заявление на заочное, а договор в издательстве, и вот эта куча денег уже жгла ему карманы!

Он, конечно, заплатил за нечаянный банкет.

Вообще-то все это, вместе взятое, стоило сто рублей, по четвертной на душу, да еще и с выпивкой. И мы тогда же дружно затвердили решение — в день стипендии ходить в «Савой» и там вкусно обедать.

Мы обвыкали во взрослой жизни таким образом. Складывались маленькие традиции, устанавливающие образ бытия. Раз в месяц мы вспоминали Пудоля, который возносился все выше и выше вдали от нас.

И числился в нашей компашке чистым гением.

Только вот после того полдника с выпивкой за его счет он очень ослаб почему-то. Выпили мы всего-то один штофчик на четверых, и всяк из остальных был как конный огурец, а его отчего-то развезло.

Мы бережно доставили названного учителя в частную комнату, которую он снимал, и уложили в постель.

## 6

Но кто бы и подумать мог, что Лермонтов способен людей разводить? Во всяком случае, трещина в отношениях с Джуркой обозначилась из-за него.

Ясно, что высокие, а уж тем более гениальные выражения могут долго бродить в человеке. Уже и забытые, они тревожат душу, толкают ее на мысли, а мысли приводят к действиям, даже не всегда разумным.

Я заметил, что Джурка стал реже наигрывать на своем аккордеоне, но время от времени пропускает по утрам лекции. Ничего особенного в таком поведении не существовало — ведь ушел же я однажды поутру в городскую баню, голышом постирать собственное белье, попробовал, так сказать, бесталанно сэкономить средства, вот и он — оставался утром дома, переворачивался на другой бок, говорил, что не выспался, и делал вид, будто дремлет, пока мы с Бобой Виннером толкались в узких проходах нашей общей комнатухи, швыркали

чаем, гремели ложечками, пыхтели, натягивая на ботинки наши потрясающие и модные в ту пору боты с пронзительной кличкой «Прощай, молодость!». С молодостью прощаться мы, ясное дело, пока не торопились, но боты, суконные, с резиновой подошвой, надеваемые на ботинки, горячо уважали, ибо находили в них защиту как от морозов и снегопадов, так и от луж и ручьев.

Потом Джурка стал подозрительно прятаться от нас в дальних аудиториях. И не просто так — а с тяжеленным «Ундервудом», который перетаскивал с места на место. И когда мы его находили, он поспешно выдергивал из машинки листок и прятал его под книги. Вольному воля, есть у тебя тайна — пожалуйста, храни ее, но ведь, как известно, любая тайна все равно пробытается наружу.

Впрочем, он сам ее и пробил. Вернее, представил. Раскрыл. По-нынешнему, презентовав.

В один прекрасный день, после лекций, он зазвал нас в пустую аудиторию подальше, засунул ножку стула в дверную ручку, потому что днем такие помещения не закрывались, и сказал, вернее, спросил:

— Можете послушать?

Разумеется, могли. И наш большой и лобастый Джурка принялся читать стихи, перелистывая листочки с самодельной, похоже, сшитой нитками книжице.

Мы — то есть Минибай и я, а также тихоокеанский матрос Яков, Коробкин и Гена Шидрин — слушали с доброжелательным вниманием. Стихи оказались вовсе не плохи, автор владел рифмой и ритмом — ну мало ли, что порой сбивался. Зато чувствовалось его горячее желание сложить стихотворение. Его бы, скажем, можно и не писать, раз оно о природе — а о природе-то горы гениальных сочинений! Тот же Кольцов или Никитин — мы их в начальных классах наизусть учили. И трудно что-то новое здесь прибавить, хотя, наверное, и можно... Ну и прочее тоже у Джурки выходило с одной стороны гладко, а с другой — так себе, средненько, ничего особого, хотя почему бы и нет.

Он волновался, конечно, прикрывал глаза, потел, а в аудитории висела тишь. Поэт затих. Спросил, отирая пот:

— Ну чо?

Мы попереглядывались меж собой, никто не решался открыть дискуссию. Тогда я и брякнул:

— Нет, ты не Байрон, ты другой!

Скок воззрился в меня туманным взором. Вглядывался и во что-то вдумывался, не понимая, как я выразился: похвалил или отверг.

Всегда доброжелательный Минибай ободрил Скока, наверное, из гуманистических соображений:

— Конечно, другой! Ведь там же говорится — «с русской душой!».

Так это же он Лермонтова подтверждал. А Скок все-таки не Лермонтов. Яшка Сенгур, человек с большим жизненным опытом, умело увернулся:

— Знаете, ребята, я открыто вам и свою тайну. Третий год пишу исторический роман. Знаете, о чем? О Тьмутаракани, была такая страна в районе Тамани, где я родился. Там-то и явился настоящий русский народ! На перекрестке, так сказать, половецких степей, татарских нашествий и русаков с голубыми глазами.

Генка Шидрин удивился историческому новаторству Якова, потому что полагал русским началом явление Юрия Долгорукого, начались некоторые прения стон, которые закончились горячим выступлением краснофлотца. Что терять, дескать, время нельзя, оно утекает, как вода сквозь пальцы в умывальнике, и всем нам, как одному, надобно писать, писать и писать, перефразируя призыв Владимира Ильича — учиться, учиться и учиться.

— Ох! — вздохнул в конце обсуждения наш славный реалист Игорек Коробкин. — Нам бы ваши заботы, братцы!

Он помолчал, поулыбался и проговорил:

— Я вот тоже стихата кропал, даже печатал, даже гонорарий за них кой-какой получал! Да!..

Продолжил, притухнув:

— А теперь тверезо понимаю — не мое это дело. Тут Божий дар требуется, никак не меньше! Знаете, я даже перестал читать любые стихи. В том числе классики! Стыдно признаться, но не по Сеньке шапка! И вот теперь соображаю, как бы научиться простые заметки писать в газету. Чтоб грамотно! Чтобы идея была! Смысл! Чтобы хоть кому-то помочь делом! Малость жизнь получшать, а?

Возбуждение его угасало:

— Мне не до стихов. Мне бы выжить!

И он, чудак-человек, всхлипнул. Понятное дело, все, включая поэта, бросились его утешать, обсуждение само собой уяло, отошло в тень.

Ни в этот вечер, ни по дороге мы не разговаривали ни о стихах, ни о литературе, ни о чем, что где-то там, за морями, за долами и, как верно ткнул нас Коробкин, пока не про нас.

Перед сном я мельком подумал, что Джурка Скок пожизненно обиделся на меня. Ведь лермонтовскую печаль можно трактовать и по-другому. Мол, куда тебе до Байрона-то, друг. Пусть ты и русский душой! В общем, про поэзию Скока я предпочел не рассуждать. Даже про себя. И вообще посеял отвращение к любым доморощенным стихам, как к делу для газетчика недостойному. Вот о делах газетных — всегда пожалуйста. Тем более что я вдруг нашел на столешнице перед университетским зеркалом сначала перевод на целых

200 рэ, а через день — большой конверт из моего родного гнезда, с номером газеты, где целую страницу занимал очерк с картинкой, специально нарисованной художником. Очерк назывался не «Алые паруса», что уж теперь-то мне ясно казалось бескрайним нахальством, а «Алые паруса мечты». Куда ни шло! А подпись моя скромно помещалась внизу заметки и содержала сведения о том, что я студент первого курса отделения журналистики. Дескать, чего с него возьмешь?

Из газеты выпала записочка от добродушного Демидыча. Поздравляя с сочинением, он слегка посетовал мне на неважную проверку фактов, за что ему досталось на орехи от кого следует: Женя пошла в детдом не потому, что родители погибли на войне, а потому, что были репрессированы и по сей день находятся в колонии.

Меня прошиб мороз — да еще и на улице было холодно, зима не собиралась сворачивать свои ледяные покровы.

В душе я, конечно, помянул болезненного рекомендателя, но Женю пожалел, а перечитав свое почти выдуманное сочинение, дал себе слово следовать правде, только правде, одной лишь правде, как услышал в каком-то ненашенском кино. А всякие сочинения, включая, не дай бог, стихи — это лабуда. Высокие материи не для нас. Классиков не переплюнешь, а Скоку тут нечего обижаться.

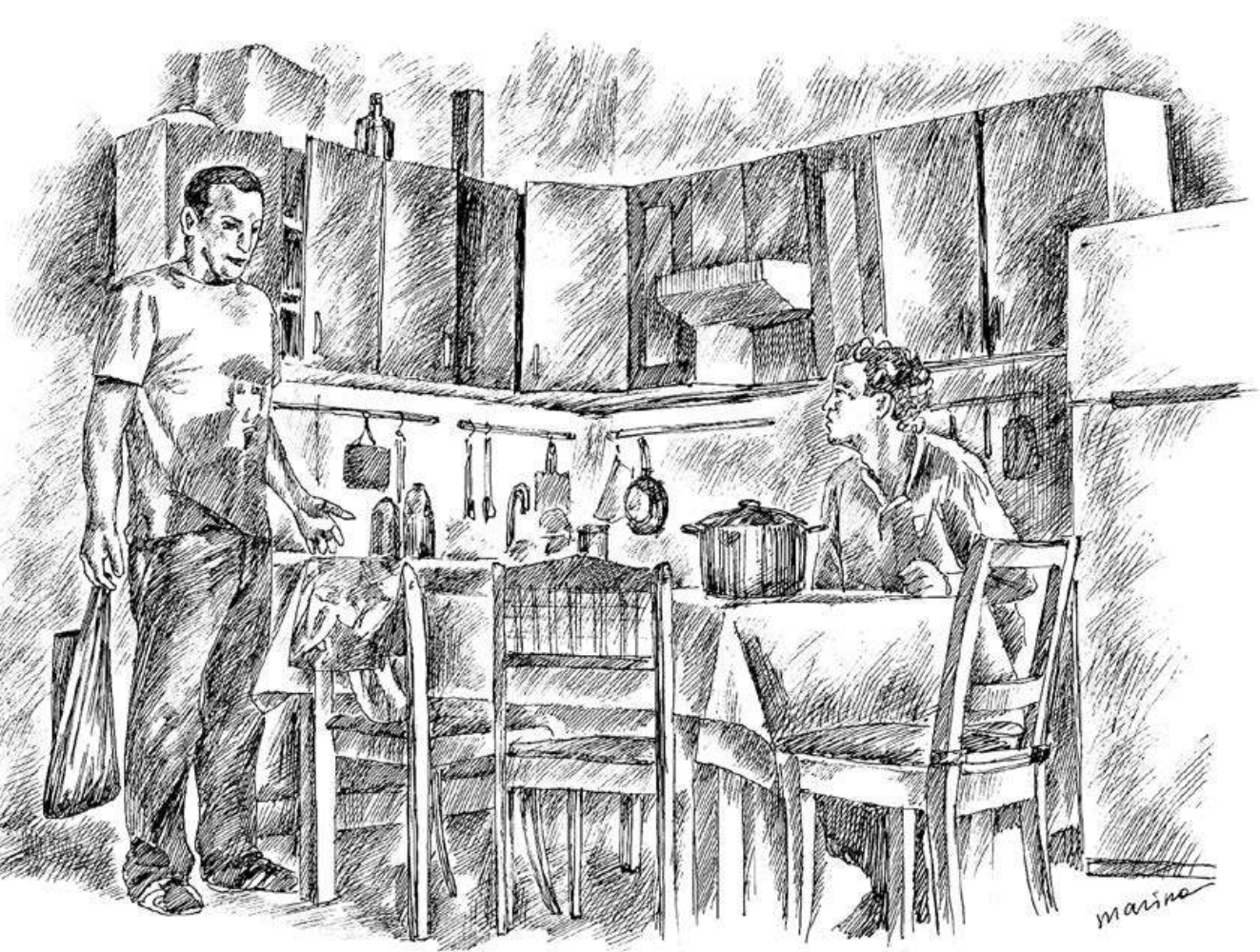
Такая теория, как узнаю я со временем и пойму, существует веками. Она довольно живучая, бродячая и кусачая. И может оборачиваться против своих апологетов.

## 7

Еще в том, теоретическом, считай, семинаре, я пожалел Игорька Коробкина за его настоящую правду. Стипендию-то он получал, спасибо Старославянцу, и это было для него спасение. Дежурства у трампарка с потеплением ликвидировались до следующей зимы, чтобы разгружать вагоны с углем, требовалась компания, а она не хотела сбиваться воедино. Других источников существования у Игорька не было, и они с Генкой по-прежнему варили вермишель на общежитской кухне. Хоть не в чайнике, а собственной кастрюле.

Вышло и еще одно послабление: хлеб в столовых, в том числе и нашей, студенческой, клали горой и бесплатно. Это выручало самых бедных, а Игорек никак не мог выбиться из них. Чай тоже наливали бесплатно, только за сахар следовало доплатить, но когда человек всерьез голодный — он чай и без сахара пьет, чтобы запить им куски хлеба.

Белый хлеб выставляли только изредка, а черный хорошо шел с горчицей, круто посыпанный солью.



Этакое острое блюдо, вызывающее сильное слюноотделение. Брюхо по этим причинам плюс неограниченный чай быстро набивалось этим добром, приятным во всех отношениях. Но такое ведь годится разок, другой, третий. А когда — каждый день: хлеб с горчицей и чай, хлеб и чай? Вечером — вермишель, не всегда с маслом. Поневоле затоскуешь о куске мяса или хоть сосиске: какие тут стихи! И при этом человек по праздникам надевает выцветшую гимнастерку с планкой наградных колодок, среди которых нетрудно узнать медаль «За отвагу».

Я тащил Игоря Коробкина к тете Дусе, иногда он поддавался, а потом проявлял неясную мне строптивость при всем своем мягком нраве, повторяя без конца:

— Неудобно, пацан! Мне неудобно!

Словно бы продолжал, когда мы шли от столовки по лестнице или по коридору:

— Понимаешь, я что-то не то сделал. Не туда залетел! А я не мальчик, чтобы ошибаться! Я уже почти пожилой человек! Мне семьей надо обзаводиться! Детей

рожать! Зарплату получать! Мне далеко за тридцать лет, а я все еще просто дембель!

— Но есть-то надо! — приводил я единственный доступный мне аргумент. — Тетя Дуся — добрый человек! Потом рассчитываешься!

— Эх, — вздыхал Игорек, — тетя Дуся, тетя Дуся!

И отворачивался в сторону.

Однажды по какой-то причине я возвращался на трамвае позднее обычного. Зашел в магазин с пирамидами «Чатки» и купил, по обычаю, две свои французские булочки.

Снова шел вдоль пути у трампарка, и снова шел снег, но не такой, как в прошлый раз. Снежинки сыпались огромные, они планировали, опускались медленно и лирично. Трамваи перезвякивались между собой, собирались впритык, окна в них поначалу сияли, а потом гасли.

На все том же перекрестке я увидел знакомую фигурку и сразу узнал Игорька. В руках на сей раз он держал не скребок, а обыкновенную метлу, прочищая ею снег, забивавший путевые стрелки.

Я окликнул его, и он, как всегда улыбочивый, подошел ко мне.

— А где Генка? — поинтересовался я.

— Генка приболел, — ответил он, — лежит в обшлагае с температурой. Под двумя одеялами: своим и моим!

Чувство печального юмора не оставляло Игорька Коробкина, и я захотел хоть чуточку выразить ему симпатию. Я приоткрыл на колене свой чемоданчик и достал обе французские булки, что я купил. Протянул их Игорю и сказал:

— Это вам с Генкой! Пока еще не ночь, напои его чаем! Да и сам...

Одной рукой он держал метлу, будь она неладна. А другой прижал к груди две эти несчастные булки и глядел на меня во все глаза. Будто первый раз увидел — и все не узнавал знакомого человека. Потом его плечи затряслись. А на плечах был снег, крупными своими снежинками положивший ему белые погоны.

Он плакал молча, склонив голову, неумело, стараясь скрыть от меня свои слезы, хотя как тут скроешь-то, если плечи трясутся. А снежные погоны не падали с его плеч. Мокрый уже шел снег. Зима близилась к концу.

И вот он сказал:

— Позор на мою голову! Это я тебе должен булку давать! А не ты! Ведь я солдат!

— Да ладно, Игорь Иванович! — едва сдерживая комок в горле, брякнул я, цитируя классику. — Сегодня я, а завтра — ты!

И кинулся от него к дому.

## 8

А дома застал Джурку совершенно пьяным.

Боба Виннер сидел за столом, пил краснодарский сладкий чай с булкой, намазанной маслом, а Скок изо всех сил рвал меха своего аккордеона, иногда подвывая отдельные строчки известных песен.

При этом он успевал матюгаться и припугивать хрупкого филолога нецензурными выражениями. Я попытался обратить все это в смех, в удивление, почему же Джурка не поделился радостью с близкими друзьями, а наглотался в одиночку.

— Анапа приходила? — спросил я у Виннера, а Скок быстро ответил:

— Три раза!

— И что?

— Говорила: нехорошо!

— Да уж конечно, нехорошо! Но с кем же ты надрался-то?

— С Пудолем! — едва ворочая языком, ответствовал Джурка. — Во парень! Не то что все вы! Засранцы!

Сообщение про выпивку с Пудолем слегка царапнуло меня, ведь все-таки мы познакомились с ним все равно, на равных, а теперь, выходит, появляются особые внутри сообщества отношения.

Сам же и отмахнулся: какие отношения? Все складывалось совершенно случайно, без всяких обязательств, как, впрочем, и тут, в этой частной комнатухе: каждый сам по себе, не так ли? И не стал расспрашивать дальше. Надо — сам расскажет.

Но Скока занимало что-то другое. Видно, выпил он основательно, но бывают люди, которых водка глушит не сразу, а постепенно. Джурка играл на аккордеоне, пел какими-то выкриками и пьянел все заметнее.

В дверь постучали, она приоткрылась, и Анна Павловна, владелица этой конуры, чувствующая себя хозяйкой имения, сказала, тем не менее, вкрадчиво:

— Ребятки! Уже поздно! Двенадцатый час. Девочкам надо спать! И вам тоже! Джурик, потише, пожалуйста!

— А! — воскликнул Джурик. — Анапа!

— Что? — не поняла та.

— Анна Павловна, щас, щас! Еще пять минут!

А когда дверь притворилась, он сдвинул аккордеон и положил голову на него. С минуты, наверное, не менее, было тихо, мне даже показалось, что пьяный Скок так и уснул на своем трофейном инструменте.

Но он вдруг резко и трезво вскочил, небрежно толкнул драгоценный инструмент на свою кровать и обернул к нам лицо с покрасневшими глазами, будто долго тер их кулаком. Речь его была, понятное дело, совершенно нетрезвой, рваной, вскипающей матом, но логичной. И ужасной!

— Я не знаю, как мне жить! — воскликнул он для начала, и эту вводную фразу я принял как признак неважнецкой литературы. Даже усмехнулся. Боба Виннер поступил аналогично.

— Это знаю только я и моя мать! — продолжил он. — А теперь узнаете вы! И вам не станет от этого лучше! Но! Я! Не знаю! Как мне жить! — он снова выделил восклицаниями каждое слово.

— А может, и не надо, нам-то? — спросил я.

Он повесил голову. Нетрезво помотал ею, будто хотел протрезветь, что ли? И снова повторил:

— Не знаю как!..

Потом он сказал просто несколько фраз. А устроил тоску смертную.

Отец был на фронте, командовал какой-то связью, исправно слал письма, а мать получала деньги. Еще она работала в библиотеке. Неподалеку находился госпиталь. Некоторые раненые захаживали к ним домой. Мать угощала чаем, смеялась. И вот однажды Джурка пришел из школы раньше времени. Учительница, что ли,

будто заболела. Вошел в дом, не скрипнув, даже обувь на крыльце снял. Входит в комнату, а мама с каким-то мужиком. Из выздоравливающих. Он не убежал, не затаился, а заорал в полный голос:

— Отцу скажу!

Джурка не стремился к последовательности. Рассказ свой прерывал. Многое опускал. В конце объяснил, что мать вымолила у него, своего сына, чтобы молчал. За это она делала все, что он просил. Отец с войны вернулся. И вот столько лет прошло, но он ничего не знает.

— Пусть и не знает! — сказал я, потрясенный открытием Скока. — И вообще! Нам-то зачем рассказал?

— Зачем! — прошептал он. — Да я не знаю, как жить!

— А теперь узнал? — спросил я довольно жестко.

Мне почему-то стало обидно за Джуркину мать, которую никогда не видел. Да и отца его тоже, о котором понятия не имел.

Гуманитарий Виннер утешал со своего стула:

— Важное дело — выговориться. Тебе, конечно, полегчает, — ворковал он. — А теперь давай-ка ложись.

И стал укладывать нашего гиганта. Сперва мы убрали аккордеон с кровати, вложили его в футляр, потом раздели Джурку до трусов. Он глядел окрест непонимающими, отсутствующими глазами, покорно кивал головой кому-то — явно не нам, — бухнулся в койку и умолк.

— Теперь, — обернулся ко мне мудрый Боба, — он нас возненавидит.

— За что? — не сразу понял я.

— За то, что наградил, — он как-то брезгливо произнес это слово, — своей тайной.

Утро началось необычайно, часов в шесть. Я проснулся от того, что кто-то трогал мои ноги. На своей кровати сидел Боба Виннер, всклоченный, каким бывает внезапно проснувшийся человек, а возле меня стоял Скок. И хлопал мне по ногам, чтобы проснулся. Я подскочил, как, наверное, и Виннер. И тогда Джурка трезво произнес:

— Дайте мне клятву, что никому ни слова!

Я глянул на Виннера. Он часто-часто кивал мне головой. Странное дело, но у меня обнаружили почти взрослые слова.

— Джурка, друг! — проговорил я, совершенно не уверенный, что имею хоть какое-то право говорить таким образом. — Мы ничего не слышали. Да, Боба?

— Да, да! — подтвердил тот.

— Но это твоя, понимаешь, твоя личная тайна! И, наверное, есть тайны, которые люди уносят в свои могилы! Унеси и ты!

Он как-то встрепенулся, посмотрел на меня непонимающим взглядом, будто думал. И только подумав, кивнул.

## 9

Минибай, как представитель Крайнего Севера, сразу оказался в общаге, поэтому мы виделись только на лекциях, а поболтать могли в перерывы между ними.

Он отвел меня в угол коридора и с выпученными глазами сказал, что утром к ним в общагу явился полутрезвый бог наш Толя Пудоль, вызвал Минибая на улицу и рассказал ему про Джуркино бедствие. Он-то боялся, как бы что со Скоком не произошло, думал, тот живет в общежитии и приехал туда. А теперь Минибай перелагал мне всю эту тайну.

Я не знал, как себя вести. Одному другу дал слова молчать, но другой друг, оказывается, тоже посвящен, а Пудолю, видать, на нетрезвый язык Скок первому свою тайну и выложил — как теперь быть?

Я молчал и, наверное, отводил глаза в незнакомую — почему мне вообще надо все это знать? С какой стати? Разве все надо до дна выкладывать при первой расслабухе?

Минибай разглядел мои уклончивые взгляды. Спросил:

— Ты знаешь?

Я пожал плечами:

— А зачем такое знать?

Он обрадовано согласился. Я продолжил:

— Это его родные... Какое нам-то дело?

— Точно!

Надо, пожалуй, отдать должное нам, пацанам тех времен — и Минибаю, и Виннеру, и Пудолю тож. Никто из нас не произнес больше ни слова, даже друг с другом про эту Джуркину историю. Но вряд ли не думал. Думать ведь не запретишь.

А Джурка поначалу вел себя будто виноват перед нами. Вот именно так, а не иначе — перед нами, а не перед тем, перед кем бы надо. Он как-то заискивал, даже заигрывал. Был подчеркнута деликатным, проявлял дружелюбие, обрадованно смеялся не самым смешным нашим шуткам.

Мне, честно сказать, хотелось его пожалеть. Но почему-то не получалось, странное дело. Что-то такое недоверчивое копошилось внутри меня. Какое-то нехорошее — мое собственное недостоинство, если можно так сказать. Чего-то во мне самом таилось неласковое, раньше не бывавшее. Какая-то опаска. Будто сунули носом в чужое барахло. И если оно даже крахмально-стираное и глаженое, все равно ведь чужое. Зачем это?



Однажды нечаянно подумал: а что если бы это случилось с тобой? Ущипнул себя за руку: как ты можешь даже подумать такое, это не про тебя, у тебя такого быть не могло.

И вот тут стало отчаянно, и совсем по-новому, жаль Джурку: как выжить с таким воспоминанием? И ты бы не смог!

И вдруг оказалось, что Джуркина мать приезжает навестить своего сына. Устроилась она, по рассказам Скока, у знакомых, а приходила к Джурке сразу после лекций, на частную квартиру, к Анапе, и мы с Виннером увидели ее только раз, тотчас после приезда. Выглядела эта женщина обыкновенно — полновата, просто-волоса, неприхотливо одета, здороваясь с нами, вела себя скромно, точно робея ученых студентов, и мы с Бобой до крайнего часа торчали в университете, даже после закрытия читального зала. Чтобы не мешать общению родственных душ.

Через неделю Джуркина мать уехала.

Он ходил, будто мокрый щенок.

## 10

А жизнь неслась!

Нам иногда кажется, что жизнь — это только то, что происходит лично с нами! Вот ты хорошо сдал экзамен и зачет, и это великая победа, заработал стипендию! Или одолел какую-то, как раньше казалось, неподъемную книжищу, вроде «Жана Кристофа» Ромена Роллана — четыре могучих тома. Да и каких! И дело, конечно, не в том, что их просто прочитал! А в том, что прочитав, крепко раздумался — именно так! — о мире людей, таких далеких от тебя во времени и пространстве, но таких понятных своими мыслями и поступками!

Мир всякого человека, я уверен, не может остаться неизменным после таких книг, но в каждой отдельной судьбе — это только личное твое событие. Оно, надо надеяться, изменило тебя, но не переменило мир, и трудно верится в простые перемены, когда все и разом улучшается в целой державе. Ведь для этого надо, чтобы, скажем, миллионы людей в один и тот же месяц, все побросав, одолели того же «Жана Кристофа», закручинились, переменили себя изнутри, а тогда бы взамен улучшился и целый мир. Хотя бы наш мир.

Но такое и представить даже нельзя. Да и вообще — что такое пусть и великая, сотрясающая, но лишь одна книга в жизни человечества? От того, что ты ее прочитал, мир как не улучшится, так и не рухнет.

И вообще, жизнь, наверное, — это что-то вроде потока громадного! Всеобщего! В нем — и воды, и ветры, и души живых и усопших, и движения армий, каких-нибудь бесчисленных танков, и трепет голубя-турмана, и

люди, зачем-то идущие в сплошном снегопаде, и боль, которую утишают врачи, и боль, которую уж ничем не утишить. И в этой жизни — ты, маленький огонек, незаметная частица, но и в то же время ты — огромный мир, если способен замирать над «Жаном Кристофом», проваливаясь сквозь страницы куда-то в пространство меж звезд, чтобы если и не понять, то содрогнуться, узнавая, из чего происходят звуки музыки и является гениальность, как неведомый, невидимый и еще никем непонятый Божий дар.

Наивно верую, что студенческая пора — это время открытий даже не столько мира, сколько себя. Перед тобой предстают собственные возможности, которые можно смело назвать природными ресурсами.

Все в тебе открыто — хорошему и дурному. И сам ты готов выложиться во все свои, пусть даже кем-то внушенные, мечты. Ты боец и дитя сразу, конструктор собственной жизни и чернорабочий-исполнитель.

Ты зайчик и орел, наивен и всемогущ!

Боже, отчего же такое великое множество бедолаг, будучи гениями во студенчестве, так и не могли ужиться в серьезном мире?

И все-таки, все-таки жизнь — это что? Да все, что вокруг нас, и все, что мы есть сами!

Но к чему, собственно, эти размышления? А может, к тому, что студенчество послевоенных пор теперь-то, задним числом, мне представляется такими горами!

Высоты духа обладали сказочным умением соседствовать с его низинами, голод — с философией, раздольная вольница — со строгостью внутренних правил, не нами придуманных.

Мы же не удивляемся, когда пьяный плачет. Он пьян, а значит, нехорош. Но он плачет, чему-то сочувствуя. Пусть даже самому себе, значит, он прекрасен!

Потому никто не удивился, когда Джурка с головой опрокинулся в творческий омут.

## 11

Нет, теперь это не были стихи.

Вообще-то, как вы помните, мы начинали с простого и втроем, но ничем особенным, кроме трех подписей под жалкой заметкой и заработком по 9 рэ каждому, это не кончилось.

Врозь по-своему нас посетило ощущение неловкости, которое хоть и утешил многоопытный Зиновий Абрамович, да оно и само поспешно угасло в многообразии бытия, а все-таки, видать, где-то в каждом присутствовало. Затаилось.

Мы, похоже, пришли к необходимости пробовать каждый по-своему, а я, грешен, еще на каникулах, из дому, перед самым моим выходом на шинный завод,

вдруг взял да и написал письмецо в журнал «Советское фото». Тогда много что оживало после войны. И молодежная газета в каждой области и крае, закрытая на четыре военные года, радостно принималась выходить снова. И даже журналы. Вот и «Советское фото» объявилось в подписных каталогах, и я, десятиклассником, выписывал его. Был этот журнал довольно толстым по тем временам, но фотографии помещались небольших размеров, цветные вклейки, правда, тоже появлялись, однако нерегулярно — о цветных фотографиях тогда только мечтали.

Ну, я и бухнул такую заметку за подписью студента первого курса отделения журналистики. Что, мол, газета требует не только текстов, но и фотографий, а на отделениях журналистики, по крайней мере у нас, на Урале, даже такого предмета нет.

Будь моя воля, я бы тогда лягнул старославянский, мол, лучше бы вместо него фотограмма, больше толку, но деликатно удержался. В конце обращал внимание неведомых властей предложением: немедленно ввести курс фоторепортажа для грядущих газетчиков.

Написал, послал и забыл.

И вдруг — как это случилось уже во второй раз — мне кто-то говорит, что перед зеркалом, на полке мне сияет денежный перевод из самой Москвы! Когда приходят такие известия, обычно люди все бросают и бегут! Но скорее всего, как почти обо всем хорошем, меня известили о переводе в столовке, и я, с трудом сдерживая себя, по-взрослому и неспешно дохлебал щещи, укрепившись котлетой, ну а потом, под свидетельские взоры друзей, прошествовал мимо тети Дуси, где отныне и навсегда действовала для моего организма безотказная кредитная линия.

С трудом сдерживая шаги, я подошел к зеркалу, возле которого вечно кружился девчачий, приукрашивающий собственную действительность, хоровод. Передо мной расступились, я увидел свое имя на помятом извещении, вчитался, сумма рублей в 80, а на штемпеле, действительно, Москва!

— Москва, Кремль! — шутканул Минибай, и я небрежно обернулся к ближайшим своим содругам.

— Не скрою! Вероятно, курьером!

— Сто тысяч одних курьеров, — напомнил Джурка Гоголя.

— Лучше бы, — не сломался я, — сто тысяч одним курьером!

Через час деньги жгли мне карман, и оказалось, что они от «Советского фото», но сам журнал в нашей библиотеке отсутствовал. Немножко потолкавшись, я нехотя пояснил, что мне опять надо на главпочтамт, а сам бросился в городскую библиотеку, где и обнару-

жил в журнале свое воззвание, набранное крупным шрифтом и на видном месте. Да еще и с припиской редакции, что она горячо поддерживает мнение студента. Студента с Урала. Мол, не забудьте — опорный край державы!

Еще через пару дней, там же, перед зеркалом, у всех на глазах я обнаружил фирменный конверт из «Советского фото», где редактор отдела по фамилии Пригожин меня благодарил от имени целой редакции, предлагал сотрудничать и дальше, объяснив это тем, что у них нет связей с Уралом. Тут же выдвигал соображение, что был бы полезен большой обзорный очерк об уральской газетной фотожурналистике.

Ни фиги себе! Тут же поделился со всеми своими соратниками необыкновенным заказом из столичного — надо же! — издания! Откровенно говоря, вибрировал я совершенно чудесным образом. Мне и хотелось, и боялось! Но, самое забавное, я не знал, как к этому подступиться.

Выручил Пудоль. Изжевав с братвой все возможные варианты, зная, что никто из них никогда в своей жизни не фотографировал — разве мыслимо теперь это даже просто вообразить! — я решил без шума и гама подойти к Толе Пудолю.

Показал ему письмо. Тот вскинул брови, улыбнулся чистой дружеской улыбкой, воскликнул:

— Пошли!

И мы куда-то отправились по длинным-длинным, в километр длиной — ну метров двести! — редакционным коридорам. На каком-то повороте двери оказались распахнуты, там было для зимы очень тепло, почти жарко, а посреди пространства медленно крутился огромный сияющий серебристый барабан.

Это потом я пойму, что прибор этот просто сушит и гляncует фотографии, а народ, который окружает его, хохочет и поругивается, — фотокорреспонденты почти всех уральских газет, которые, отснявшись, отпроявлявшись, отпечатавшись, лакировали свои работы, дабы снести их заведолам, ответсекретарям, а то и самим главным редакторам, чтобы наутро их картинка украсила газету. А тогда я затих от трепета, будто вступил в зубоветочный кабинет.

— Мужчины! — как-то ласково, по-братски сказал им Толик. — Минуточку внимания! Вот, рекомендую вам, — он горделиво протянул руку в мою сторону, — корреспондента журнала «Советское фото».

Мужики недоверчиво притихли. А Толя забивал свой гвоздь в мою крышку:

— Да, он студент! Но уже печатается в этом журнале. И у него — редакционный заказ! Сделать большой материал про вас про всех!

То ли стон, то ли возгласы сомнения встретили это сообщение. Смысл состоял в том, что ведь их много, да и разве бывает про всех?

— Вот вы и подскажите ему! — продолжал Пудоль. — Назовите одну группу, да? — обернулся он ко мне, и я кивнул. — Потом другую! Журнал только возрождается! И всех вас переварит!

Эта невзыскательная шуточка помогла разрешению недоверия. Мужчины, перебивая друг друга, но и соглашаясь всякий раз, назвали мне четыре первых имени, никого из этих маэстро тут не было — один болел, один готовил свою персональную выставку, а двое находились на съемках, — и снабдили меня телефонами каждого и кандидатов.

Я, надо признаться, благодаря Толе, отделался междометиями: «Да!», «Ох!», «Ух, ты!» Никакая речь от меня не требовалась — как хорошо! Но все номера записал, продиктовал свои имя и фамилию, а ушел, награжденный фотографической лаской.

Заведующий лабораторией, дядя Миша, кудлатый и широконосый, спросив, снимаю ли я сам, как-то искренне приветствовал это и предложил:

— Если тебе что-то надо проявить или напечатать, заходи сюда! В любое время! У нас тут всегда все

есть. Наготове! И растворы! И этот барабан, — ткнул пальцем в неостановимый глянецватель, — всегда крутится!

А на прощание совсем приласкал:

— У нас тут вся фотографическая братия толчется! День побудешь — всех узнаешь!

Я так и сделал. И четверых выдвиженцев узнал. И с каждым из них провел по много-много часов, подружившись накрепко. А написав свое сочинение, довольно-таки продолжительное и неспешное, да еще не только проверенное, но одобренное каждым из моих героев, вместе с целым пакетом превосходных отпечатков отправил авиапочтой Пригожину.

Всего-то через два месяца — разве срок для журнала! — меня только что не качали в фотолаборатории Дома печати за развернутый и подробный обзор творчества уральских фотомастеров с их снимками. Был с нами и Толя Пудоль, мой проводник, Дерсу Урала моей судьбы. И дядя Миша, к той поре закадычный верный друг и радетель, хлопал по плечу.

А еще через неделю перед университетским зеркалом появился перевод — о ужас! — на четыреста пятьдесят рублей.

Целых две стипешки!

Продолжение следует.